



В. В. ВЕЙДЛЕ

Последняя любовь Тютчева

Ничто не способно биографа так увлечь, как история любви или влюбленности его героя, хотя очень часто истории эти ничему пищи не дают, кроме неумного любопытства и вялого сочувствия. Конечно, в любви раскрываются глубочайшие недра человеческой личности, — но не во всякой любви, и редко удастся нам заглянуть в чужую любовь так глубоко, чтобы и для нас в ней что-либо раскрылось. Есть, правда, письма Китса к Фанни Браун и самой жизнью рожденная трагедия Гёльдерлина и его Диотимы; есть поразительный в своей законченности роман Жорж Санд и Мюссе, и «образцовая» любовь Браунинга и Елизаветы Баррет¹. Есть и у нас история женитьбы и смерти Пушкина, да еще вот эта, названная им последней, тютчевская любовь, значительная именно тем, что в ней он сказался весь, сказался так, как больше ни в чем другом из того, что мы знаем о его жизни. Тютчев неуловим; и если в чем-нибудь можно почувствовать его, так это в этой поздней, тяжелой, изнуряющей любви, начавшейся бурно и кончившейся так грустно. Однако, чтобы понять эту любовь и то, что она значила для него, нужно вспомнить и кое о чем, что было пережито им до знакомства с Еленой Александровной Денисьевой.

* * *

Сохранились отзывы о Тютчеве его детей. Из них самые интересные два: его старшей дочери от первого брака и сына его от Елены Александровны. Анна Федоровна писала о нем сестре в 1854 году: «Он мне представляется одним из тех безначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души. Он совершенно вне всяких законов и правил. Он пора-

жает воображение, но в нем есть что-то жуткое и беспокойное. Сегодня он показался мне еще более странным, чем всегда, и особенно смутил меня...» Федор Федорович, потерявший отца в тринадцать лет, руководясь семейным преданием, говорил, что ему было свойственно «какое-то особенное, даже редко встречающееся в такой степени, обожание женщин и преклонение перед ними». В своих отношениях к ним, по словам сына, он «походил больше на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, чем на счастливого обладателя». Оба эти свидетельства подтверждаются другими данными, и между ними есть внутренняя связь. Тютчев не был «обладателем», но и им нельзя было обладать. Елена Александровна говорила ему: «Ты мой собственный»², — но, вероятно, именно потому, что ни ее, ни чьей другой он не был, и по самой своей природе быть не мог. Отсюда то пленительное, но и то «жуткое и беспокойное», что в нем было: и в самой страсти неутрачиваемая духовность, и в самой нежности все же нечто вроде отсутствия души.

В стихотворении «Не верь, не верь поэту, дева...», написанном еще в тридцатых годах, читаем:

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

Некоторое расстояние должно было всегда чувствоваться, некоторая отчужденность, отъединенность. И вместе с тем у самого Тютчева была огромная потребность в любви, но потребность не столько любить, сколько быть любимым. Без любви нет жизни; но любить для него — это узнавать, находить себя в чужой любви. В стихотворении 30-го года «Сей день, я помню, для меня был утром жизненного дня» поэт видит новый мир, для него начинается новая жизнь не потому, что он полюбил, как для Данте, — *incipit vita nova**, — а потому, что

Любви признание золотое
Исторглось из груди ее, —

т. е. мир преобразился в ту минуту, когда поэт узнал, что он любим³. При таком переживании любви неудивительно, что любившие Тютчева оставались неудовлетворенными его любовью; неудивительно и то, что для него существовала верность, не исключавшая измены, и измена, не исключавшая верности.

* начинается новая жизнь (лат.). — Ред.

Однажды осуществившаяся близость уже не исчезала больше из его памяти и воображения; но потребность в любви, в чужой любви к нему, была так неиссякаема, так ненасытна, что Тютчев искал все новых близостей. Тема неверной верности и любви других к нему проходит через всю его жизнь и получает отражение в его поэзии.

Первое увлечение Тютчева, о котором нам известно, относится к началу мюнхенского периода его жизни, вероятно, к 1824 году, когда ему было немногим больше двадцати лет, а графине Амалии Максимилиановне фон Лерхенфельд всего шестнадцать. Впоследствии она вышла замуж за первого секретаря посольства в Мюнхене бар. Крюднера, а после его смерти за финляндского генерал-губернатора, гр. Адлерберга. В стихах, обращенных к ней («К Н.»), уже подчеркнут мотив ее любви:

Твой взор живет и будет жить во мне...

Дружеское отношение к ней со следами былой влюбленности сохранилось на всю жизнь. Это она в <18>36 году привезла в Петербург рукопись стихотворений Тютчева, которая была передана князем Гагариным Вяземскому для пушкинского «Современника». Позже он запрашивал о ней родителей, писал, что считает ее несчастливой в замужестве. После возвращения в Россию виделся с ней в Петербурге. В Карлсбаде в 1870 году, повстречав ее, он написал «Я встретил вас, и все былое...», стихи, кончавшиеся так:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь...

В то лето им было обоим за шестьдесят.

В 1826 году в Мюнхене Тютчев женился на гр. Эмилиии-Элеоноре Петерсон, рожденной графине Ботмер (ее первый муж был чиновником русской службы, и сыновья от первого брака жили в России). Кое-что мы знаем о ней по письмам к брату и родителям Тютчева, изданным, к сожалению, лишь в отрывках. У нее были пышные светлые волосы и не очень гибкий стан, но слыла она красавицей. Гейне восхищался ею и, по-видимому, был влюблен в ее сестру⁴. Тютчев был глубоко ей предан и привязан к ней, хотя за двенадцать лет их совместной жизни у него бывали и другие увлечения. Кризис его отношений с женой наступил в 1836 году. В начале этого года в Мюнхене произошло

нечто, в результате чего Элеонора Федоровна, или, как ее звали в семье, Нелли, нанесла себе несколько ударов в грудь маленьким кинжалом, оставшимся, по словам Тютчева, «от прошлогоднего маскарада», а затем в полубезумном состоянии выбежала на улицу, где ее встретили и привели к себе жившие неподалеку друзья. Тютчев рассказал об этом в письме к Гагарину, усердно прося его объявить друзьям, что происшествие произошло не по каким-нибудь романическим причинам, а единственно вследствие сильного прилива крови к голове, объясняемого, в свою очередь, тем, что Элеонора Федоровна незадолго до того отняла от груди последнего ребенка. Но дело было, вероятно, серьезней: это видно из самого тона тютчевского письма. Мы знаем, кроме того, что в ту зиму он познакомился с баронессой Эрнестиной Федоровной Дернберг, рожд. Пфелфель, полуфранцуженкой из Эльзаса, которой суждено было стать его второй женой; знаем также, что Нелли хлопотала о командировке ее мужа, дабы он мог уехать из Мюнхена, и писала родителям его о собственном желании покинуть Мюнхен и уехать в Россию. Ее письма того года не раз настаивают на том, что ей необходимо покинуть Мюнхен. На следующий год, в мае месяце, Тютчев и в самом деле отвез жену в Россию, а сам вернулся в августе за границу старшим секретарем русской миссии в Турине. В конце ноября в Геную на свидание с ним приезжала Эрнестина Дернберг. Об этом свидетельствуют найденные среди ее бумаг после смерти два засушенных цветка — бессмертник и анютины глазки с надписью на бумажке «Genes. Desembre 1837». Предполагалось, что свидание это будет последним. О нем говорят стихи:

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости —
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

Заметим, что и здесь речь идет не о *моем* страдании, а о *твоем*, не о моей любви, а о твоей любви ко мне.

Через пять месяцев, в мае 1838 года, Нелли с детьми выехала на пароходе «Николай I» из Петербурга в Любек. Она держала себя геройски во время кораблекрушения, вызванного ночным пожаром и описанного впоследствии Тургеневым⁵, ехавшим на том же пароходе. Потрясение это отразилось на ее здоровье. Проболев три месяца, она умерла в Турине 27 августа 1838 года. По семейному преданию, Тютчев поседел за ночь, проведенную у мертвого тела жены. К горю его примешивалось, должно быть, и раскаяние. 6 октября он писал Жуковскому: «Есть ужасная година в существовании человеческого. Пережить все, чем мы жили в продолжение целых двенадцати лет... что обыкновеннее моей судьбы и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить... Есть слова, которые мы всю жизнь употребляем, не понимая, и вдруг поймем...» Однако через неделю, повстречавшись с ним на одном из верхнеитальянских озер, Жуковский записал в свой дневник: «Во время плавания рисование и приятный разговор с Тютчевым. Глядя на север озера, он сказал: “За этими горами Германия”. Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене». Действительно, помолвка с Эрнестиной Федоровной состоялась в Генуе, по-видимому, еще в конце того же или в начале следующего года. 1 марта Тютчев испрашивал у своего начальства отпуск и разрешение жениться на баронессе Дербург. Разрешение он получил, но отпуска ему не дали, вследствие отлучки русского посланника в Турине, которого он должен был заменять. В мае Тютчев провел недели две или три в обществе баронессы и ее брата. Отпуска ему все не давали. Тогда он решился на рискованный шаг, и в июле без разрешения уехал в Берн, где в часовне при русском посольстве и был обвенчан с Эрнестиной Федоровной. Ждать дольше было и в самом деле неудобно; первый ребенок от нового брака родился 23 февраля.

Все-таки через десять лет после смерти Нелли память о ней была еще жива. Тогда были написаны стихи:

Еще томлюсь тоской желаний,
 Еще стремлюсь к тебе душой,
 И в сумраке воспоминаний
 Еще ловлю я образ твой,
 Твой милый образ, незабвенный,
 Он предо мной везде, всегда,
 Недостижимый, неизменный,
 Как ночью на небе звезда.



Эрнестина Федоровна была женщина умная, уравновешенная, твердого характера. Она выучилась по-русски, чтобы читать стихи мужа, но еще на смертном одре Тютчев пришел в ярость от того, как она записала продиктованное им стихотворение. В отличие от ее предшественницы, ее как-то неловко называть уменьшительным именем: Нетти. Ее, кажется, мало любили; доброта и сердечность ее, по-видимому, прикрывались некоторым холодком, а может быть, и скукой. Она воспитала дочерей своего мужа от первого брака и дала ему еще троих детей. В 1844 году Тютчевы переехали в Россию, а к последующим годам относится кратковременная, вероятно, связь Тютчева с некоей г-жей Лапп, эльзаской, с которой он познакомился в Страсбурге. На старости лет она сошла с ума, и в 1900 году Лев Толстой получил от нее из Вены чрезвычайно странное письмо⁶. Однако некоторые факты, упомянутые в нем, неоспоримы. По-видимому, Тютчев имел от нее двоих детей. Известно во всяком случае, что Эрнестина Федоровна отказалась после смерти мужа от причитавшейся ей пенсии, в пользу г-жи Лапп. Когда именно она узнала об этой связи — неизвестно. Тютчев всем этим глубоко захвачен не был; его отношения с женой были дружескими и сердечными, но особого огня в них незаметно. Об остальном мы не знаем ничего. В эти годы чувствовал он себя плохо, и физически и душевно. Привыкнуть к русской жизни было нелегко. К начинавшейся литературной известности он был равнодушен. Все чаще приходили мысли о смерти, уже не оставлявшие его до конца. Он ощущал себя постаревшим. Ему казалось, что жизнь кончилась. Тогда-то и пришла в нее та любовь, которую он назвал сам последней.

Две младших дочери его от первого брака, Дарья и Екатерина, учились в Смольном институте. Одной из его инспектрис состояла уже с давних пор Анна Дмитриевна Денисьева. В ее доме в 1850 году Тютчев встретился с племянницей ее, Еленой Александровной Денисьевой, Леленькой, как звали ее близкие. Денисьевы были дворянского рода, дед Елены Александровны еще владел поместьями, а отец разорился и служил исправником где-то вдалеке. Мать рано умерла, и воспитывала ее тетка, которую она называла тамап. В ту пору было ей двадцать четыре года, а Тютчеву сорок семь. По-видимому, встреча их тотчас привела к любви, а любовь очень быстро перешла в связь. Передают, что Тютчев увез Елену Александровну с бала. Во всяком случае, мы знаем точную дату, когда начался этот ро-

ман. Через год после смерти Елены Александровны Тютчев вспоминал:

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

Эти стихи помечены 15 июля 1865 года.

Сохранилось три портрета Елены Александровны. У нее были темные волосы, причесанные на прямой пробор, узкое лицо, глубоко запавшие черные глаза.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина.

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье утомленный
И как страданье роковой.

Когда смотришь на ее портреты, особенно на дагерротип, снятый, должно быть, еще до встречи с Тютчевым, не сомневаешься, что эти стихи относятся к ней. В ее худощавом, смуглом лице есть что-то обуглившееся, сожженное. Бывают такие русские лица: в них одновременно упрямство и обреченность, беззаветность и упрек. Елена Александровна ничего не рассчитала, ни о чем не пожалела, ничего не сохранила для себя. Она называла Тютчева «Ты мой собственный». И она же называла его «мой Боженька» и еще «mon Louis XIV inamusable»*. Ее отношение к Тютчеву приближается к тому, что один французский писатель назвал абсолютom человеческой любви. Такая любовь не может не быть страдальческой любовью, а в данном случае страдание было предопределено уже тем, что для Тютчева оказалось невозможным бросить семью, разойтись с Эрнестиной Федоровной.

Все, что сберець мне удалось
Надежды, веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

Стихи эти обращены к жене; а с чем они умоляют ее примириться, это — связь Тютчева с Еленой Александровной. Для

* мой Людовик XIV всерьез (фр.). — Ред.

него началась мучительная двойная жизнь на два дома, на две семьи, а для нее — мука еще куда горшая. И на него смотрели косо; ей же пришлось прекратить знакомство с большинством прежних друзей, выслушивать укоры, терпеть обидное снисхождение. Но мучило ее не только это: она сомневалась в тютчевской любви. То, что она переживала, пережил и Тютчев как поэт; он от ее имени написал пронзающие душу всем памятные стихи; но исцелить эту рану был не в силах.

20 мая 1851 года у Елены Александровны родилась дочь Леля. Позже она родила Тютчеву еще двух сыновей: Федора в 60-м году и умершего в младенчестве Колю в 63-м. К рождению дочери относятся стихи, впервые напечатанные всего несколько лет тому назад:

Не раз ты слышала признание:
 «Не стою я любви твоей».
 Пускай мое она создание —
 Но как я беден перед ней...
 Перед любовью твоею!
 Мне больно вспомнить о себе —
 Стою, молчу, благоговею
 И поклоняюсь тебе...

Когда порой, так умиленно,
 С такою верой и мольбой
 Невольно клонишь ты колени
 Пред колыбелью дорогой,
 Где спит она — твое рождение —
 Твой безымянный херувим, —
 Пойми ж и ты мое смирение
 Пред сердцем любящим твоим.

Тютчев все тот же — для него есть только ее любовь, свою он умаляет сам, — но от этого не легче Елене Александровне. В эти годы, пока продолжалась их связь, он не изменился. Он постоянно бывает в «свете», ездит за границу, иногда с Еленой Александровной, а иногда с женой, скучает по жене и дочерям, когда он с ними разлучен, встречается с баронессой Крюднер, самым старинным увлечением своим, и пишет мадригалы племяннице Горчакова Н. С. Акинфиевой⁷. Политика по-прежнему составляет главный интерес его жизни. Порой Елена Александровна не выдерживает его рассеянности, его «отсутствия»; дело доходит до объяснений, истерик, тяжких ссор. Муж ее сестры А. А. Георгиевский передает, что однажды, будучи в гостях у свояченицы, он заметил, что из печки выпал изразец. Тютчев

поспешил замять разговор на эту тему, а когда Елена Александровна вышла из комнаты, объяснил, что это она, в порыве гнева, бросила ему в голову пресс-папье. По счастливой случайности пострадала одна печка. — Всего лучше вырисовывается вся сложность этих отношений в письме, посланном Тютчевым Георгиевскому через несколько месяцев после смерти Елены Александровны: «Вы знаете, как при всей своей высокопоэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, она в грош не ставила стихов, даже и моих, и только те из них ей нравились, где выражалась моя любовь к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила, чтобы целый мир узнал, чем она для меня: в этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее... Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такую любовью создалась, что, как отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но она), и что же — поверите ли Вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно, что зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком Вам известных, которые все больше и больше подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке. О! Как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при этом тупом понимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз она говорила мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал; я, вероятно, полагал, что как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы, и так пошло, так подло на все ее вопли и стенания отвечал ей этою глупою фразою: “ты хочешь невозможного”». — Права ли была Елена Александровна или нет, — мучения были несомненны.

Так прошло четырнадцать лет. Под конец Елена Александровна много хворала (она была туберкулезна). Сохранились ее письма к сестре, относящиеся к последним полутора годам ее

жизни. В них-то она и называет Тютчева «мой Боженька», в них и сравнивает его с неразвлекаемым французским королем. Из них явствует также, что в последнее лето ее жизни дочь ее Леля почти каждый вечер ездила с отцом кататься на Острова. Он угощал ее мороженым; они возвращались домой поздно. Елену Александровну это и радовало, и печалило: она оставалась в душной комнате одна или в обществе какой-нибудь сердобольной дамы, вызвавшейся навестить ее. В то лето Тютчев особенно хотел уехать за границу, тяготился Петербургом; это мы знаем из его писем к жене. Но тут и постиг его тот удар, от которого он уже не оправился до смерти. При жизни Елены Александровны жертвою их любви была она; после ее смерти жертвою стал Тютчев. Быть может, он любил ее слишком мало, но без ее любви он жить не мог. Мы точно слышим, как он говорит: «Твоя любовь, твоя, а не моя, но без этой твоей нет жизни, нет и самого меня». У Китса было прозрение о том, что поэту свойственно быть лишенным ясно очерченной, выпуклой личности⁸; к Тютчеву это приложимо больше, чем к какому-либо другому из русских поэтов. Еще в 51-м году он жаловался жене: «Я чувствую, что мои письма самые пошло-грустные. Они ничего не говорят и похожи на окна, замазанные летом, сквозь которые ничего не видно и которые свидетельствуют об отъезде и отсутствии. Вот в чем несчастье быть так вполне лишенным личности». Гораздо позже, через три года после смерти Елены Александровны, он писал другому корреспонденту: «благодаря моей мало-энергичной и неустойчивой личности, мне кажется, что нет ничего естественней, чем потерять меня из виду». А через два месяца после ее смерти он дал, в письме к Георгиевскому, ключ ко всей своей судьбе: «Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви <...> я сознавал себя».

* * *

Елена Александровна умерла в Петербурге или на даче под Петербургом 4 августа 1864 года. Похоронили ее на Волковом кладбище. На ее могиле стоял крест, ныне сломанный, с надписью, состоявшей из дат рождения и смерти и слов «Елена — верую, Господи, и исповедую». О ее предсмертных днях или часах и об отчаянии Тютчева говорят стихи:

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали —

Лил теплый, летний дождь — его струи
 По листьям весело звучали.
 И медленно опомнилась она —
 И начала прислушиваться к шуму,
 И долго слушала — увлечена,

Погружена в сознательную думу...
 И вот, как бы беседуя с собой,
 Сознательно она проговорила:
 (Я был при ней, убитый, но живой)
 «О, как все это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить —
 Нет, никому еще не удавалось —
 О Господи!.. и это пережить...
 И сердце на клочки не разорвалось...

В день после похорон Тютчев писал Георгиевскому: «Все кончено... Вчера мы ее хоронили... Что это такое? Что случилось? О чем это я Вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысли, чувства, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то... Сердце пусто, мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней, вызвать ее живую в памяти, как она была, глядела, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо... Писать более не в силах, да и что писать?..»

Через пять дней он писал ему же: «О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше. Благодарю, от души благодарю Вас. Авось либо удастся Вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении, это то, что я с всевозможным напряжением мыслей, неотступно, неослабно, все думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее... Но... писать об этом я все-таки не могу, не хочу; как высказать этакий ужас...»

К этому же времени относится, вероятно, отрывок из письма к неизвестному адресату, сообщенный в свое время Ф. Ф. Тютчевым, сыном Елены Александровны: «Мое душевное состояние ужасно. Я изнываю день за днем все больше и больше в мрачной бездонной пропасти... Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше не существует. То, что я чувствую, невозможно передать словами, и если бы настал мой последний день, то я приветствовал бы его, как день освобождения... Дорогой друг мой, жизнь здесь на земле невозможна для меня.

И если “она” где-нибудь существует, она должна сжалиться надо мной и взять меня к себе...»

Фет посетил Тютчева в те дни и так рассказал об этом в своих воспоминаниях: «Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел».

Оставаться в Петербурге было невозможно. Тютчев хотел было поехать к Георгиевским в Москву, но передумал, быть может, вследствие зова жены, и в конце месяца выехал к ней за границу. Через Германию, несколько раз останавливаясь в пути, он поехал в Швейцарию, а оттуда на французскую Ривьеру. Тургенев, повидавший его в Бадене, писал графине Ламберт: «Я видел здесь Ф. И. Тютчева, который очень горевал, что не свиделся с Вами. Состояние его весьма тягостно и печально. Вы, вероятно, знаете почему».

Вспоминая об этом времени, Анна Федоровна записала позже в своем дневнике: «Я причащалась в Швальбахе. В день причастия я проснулась в шесть часов утра и встала, чтобы помолиться. Я чувствовала потребность молиться с особенным усердием за моего отца и за Елену Д. Во время обедни мысль о них снова явилась мне с большой живостью. Несколько недель спустя я узнала, что как раз в этот день и в этот час Елена Д. умерла. Я увиделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии близком к помешательству. Какие дни нравственной пытки я пережила! Потом я встретила с ним снова в Ницце, тогда он был менее возбужден, но все еще повергнут в ту же мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему-либо небесному. Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, все увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям религии и доводило его, по природе ласкового и справедливого, до раздражения, колкостей и несправедливости по отношению к его жене и ко всем нам. Я видела, что моя младшая сестра, которая теперь при нем, ужасно страдала. Сколько воспоминаний и тяжелых впечатлений прошлого воскресло во мне. Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растратчена в земной и незаконной страсти».



В начале октября, из Женевы, Тютчев писал Георгиевскому: «...Память о ней — это то, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живет, мой друг Александр Иванович, не живет... Гноится рана, не заживает. Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя <...> Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество. Может быть и то, что в некоторые годы природа в человеке теряет свою целительную силу, что жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться. Все это может быть; но поверьте мне, друг мой Александр Иванович, тот только в состоянии оценить мое положение, кому из тысячи одному выпала страшная доля — жить четырнадцать лет сряду, ежечасно, ежеминутно, такую любовью, как ее любовь, и пережить ее... Теперь все изведано, все решено; теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит. Чего я ни испробовал в течение этих последних недель, и общество, и природа, и, наконец, самые близкие родственные привязанности; Саша*, ее участие в моем горе. Я готов сам себя обвинять в неблагодарности, в бесчувственности, но лгать не могу: ни на минуту легче не было, как только возвращалось сознание. Все эти приемы опиума минутою заглушают боль, но и только. Пройдет действие опиума, и боль все та же...»

Душевное состояние Тютчева, как это видно из записей его старшей дочери, не могло не огорчать и не раздражать членов его семьи. Однако Дарья Федоровна вряд ли была права, когда писала в ноябре из Ниццы своей младшей сестре в Москву: «У папы здоровый вид. Он уходит из дому на целый день. Когда он не думает об этом, он развлекается. Впрочем, он хочет казаться печальным...» Тютчев, действительно, пытался развлечься. В Лозанне, в Уши, в Монтрэ он посещал друзей, ходил на лекции и в театр, из Женевы ездил с большой компанией в Фернэй. Берега Женевского озера были ему издавна милы. Но забыть «об этом» было не так легко. Однажды, вернувшись домой, с проповеди епископа Мермийо⁹, он продиктовал младшей дочери, Марии, той самой, о которой упоминает Анна Федоровна и дневнику которой мы обязаны сведениями о времяпрепровождении Тютчева за границей, стихи:

* Кн. А. М. Мещерская.

Утихла биза... Легче дышит
Лазурный сонм Женевских вод —
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой —
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра, —
Сияет Белая Гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

По дороге из Женевы в Ниццу Тютчев осматривал Лион, Марсель, Тулон, Канн. В Ницце старался развлечься, как и в Женеве, катался по окрестностям, виделся с многочисленными знакомыми и друзьями. Но восьмого декабря писал Полонскому: «Друг мой Яков Петрович. Вы просили меня в Вашем письме, чтобы я писал Вам, когда мне будет *легче*, и вот почему я не писал к Вам до сегодня. Зачем я пишу к Вам теперь, не знаю, потому что на душе *все то же*, а что это — то же, — для этого нет слов. Человеку дан был крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает... С той минуты, как я прошлым летом встретил Вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед Вами о том, что мне претило, — и до сей минуты, если б год тому назад все мною пережитое и пережитое приснилось мне, с некоторою живостью, — то, мне кажется, — я не просыпаясь, тут же на месте и умер от испуга. Не было, может быть, человеческой организации, лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений. Еще при ее жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у нее, живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, — я помню, какую страшную тоскою отравлялась тогда вся душа моя, — и я тогда же, помнится, говорил ей: “Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — все это, что и теперь, уже теперь так страшно, — придется одному из нас повторять одинокому — переживши другого”, но эта мысль пронизывала душу и тотчас же исчезала. А теперь? Друг мой, теперь все испробовано, ничто не помогло, ничто не утешило — не живется — не живется <...> Одна только потребность

еще чувствуется, поскорей торопиться к вам, туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею — так, что за тот бы день, прожитый с нею, тогдашнею моею жизнью я охотно бы купил, но ценою — ценою чего? Этой пытки, ежеминутной пытки — этого удела, — чем стала теперь для меня жизнь <...> О, друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело, я знаю, часть этого Вы на самом себе испытали, часть — но не все — Вы были молоды, Вы не четырнадцать лет <...> Еще раз, меня тянет в Петербург, хоть я и знаю и предчувствую, что и там, но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь. Здесь даже некуда и приютить своего горя... Мне бы почти хотелось, чтобы меня *вытребовали* в Петербург именем нашего комитета, к чему кажется есть и причина — вследствие нездоровья гр. Комеровского, — что он, бедный? Очень, очень отрадно будет мне с Вами увидеться, милый мой Яков Петрович. Скажите то же от меня и Майкову. Обоих вас от души благодарю за вашу дружбу и много, много дорожу ею <...> Господь с Вами. Простите и до близкого свидания. Ф. Тютчев».

Через два дня он пишет Георгиевскому: «Друг мой Александр Иванович! Роковая была для меня та минута, в которую я изменил свое намерение ехать с Вами в Москву... Этим я себя окончательно погубил. Что случилось со мною? Чем я теперь? Уцелело ли что, от того прежнего меня, которого Вы когда то, в каком-то другом мире, — там при ней знали и любили — не знаю. Осталась обо всем этом какая-то жгучая, смутная память, но и та часто изменяет — одно только присуще и неотступно — это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты. О, как мне самого себя страшно... Но погодите... Я теперь продолжать не в состоянии. Сколько времени я носился и боролся с мыслью, писать ли к Вам или нет... Горе, подобное моему, это та же проказа. И нуждаешься в людях и дичишься людей. Невольно чувствуешь, что нельзя, не должно, не позволительно приближаться к ним, рассчитывать на их сострадание, что есть такие болезни, которые просто отталкивают участие и должны замкнуться и совершить до конца свой процесс внутри человека...»

В конце ноября или в декабре были написаны стихи:

О этот юг, о эта Ницца!..
 О, как их блеск меня тревожит!
 — Жизнь, как подстреленная птица,
 Подняться хочет — и не может...

Нет ни полета, ни размаху —
 Висят поломанные крылья, —
 И вся она, прижавшись к праху,
 Дрожит от боли и бессилья...

Это и два предшествующих стихотворения Тютчев послал в начале декабря Георгиевскому. «Вы знаете, — писал он, — как я всегда гнушался этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою своих язв сердечных. Боже мой, Боже мой. Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, — этою жизнью, которую вот уже пятый месяц я живу и о которой столько же мало имею понятия, как о нашем загробном существовании, и она то — вспомните же, вспомните о ней — она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отраднo, она же обрекла теперь меня на эти невыразимые адские муки...» Далее идет ранее приведенный нами рассказ о ссоре с Еленой Александровной, объясняющий желание Тютчева опубликовать посвященные ее памяти стихи.

В конце января Тютчев был, по свидетельству дочери, нездоров и полон грустных предчувствий; Средиземное море не могло исцелить его печаль. В начале февраля он выдал дочь замуж, а через месяц выехал с женой в Россию. По дороге он остановился на десять дней в Париже, виделся там с друзьями, обедал с Герценом (который писал Огареву: «Тютчев еще больше мед и млеко») ¹⁰, и еще раз говорил о своем горе с Тургеневым, вспоминаям позже: «Мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшею от падавших на нее слез...»

В последних числах марта, все еще в очень подавленном состоянии духа, он вернулся в Петербург. Здесь с него потребовали стихов по случаю сотой годовщины со дня смерти Ломоносова, исполнявшейся 4 апреля, и он накануне этого дня переслал их Майкову с припиской: «Вот вам, друг мой Аполлон Николаевич, несколько бедных рифм для вашего праздника, в теперешнем моем расположении не могу больше». Вскоре должна была его постигнуть новая утрата. Туберкулезом, унаследованным от матери, заболела старшая дочь Елены Александровны, Леля, носившая фамилию отца, как и ее два брата (все трое

были усыновлены Тютчевым с согласия его жены). Девочке шел четырнадцатый год. Зимой, когда Тютчев был за границей, случилась неприятность, тяжело отозвавшаяся на ее здоровье. На приеме в известном пансионе Труба, где она воспитывалась, какая-то незнакомая с семейными обстоятельствами Тютчева дама спросила ее, как поживает ее папан, имея в виду Эрнестину Федоровну. Когда Леля Тютчева поняла причину недоразумения, она убежала от г-жи Труба к А. Д. Денисьевой и объявила, что в пансион больше не вернется. У нее сделался нервный припадок, а к весне обнаружилась скоротечная чахотка. 2 мая она умерла, и в тот же день умер ее маленький брат Коля, которому не было еще и года. Один лишь пятилетний Федя выжил и на много лет пережил отца.

Два года спустя, совсем по другому, не касавшемуся его лично, поводу, Тютчев писал жене: «Вот разница между ранами физическими и духовными: первые складываются одна с другой, тогда как вторые чаще всего исключают друг друга». Быть может, мысль эта явилась плодом собственного его опыта, того, что было пережито той весной, после возвращения из Ниццы в Петербург. Можно предположить, что эта новая двойная утрата не столько стала для Тютчева новым горем, сколько углубила и продлила старое. В эти дни он написал «Певучесть есть в морских волнах...». П. В. Быков, видевший его тогда же¹¹, вспоминал через полвека: «Тютчев в то время был страшно удручен потерями дочери и особы, горячо им любимой. Я выразил ему мое соболезнование. Он почти со слезами благодарил меня и сказал: «Нет пределов моему страданию, и нет выше моей любви к той, которая дала мне столько счастья. Испытали ли вы такое состояние, когда все существо проникается, каждая вена, этим всеобъемлющим чувством, «И если загробная жизнь мне дана», — как говорит Боратынский¹², — я утешаю себя только загробным свиданием... Но ведь это утешение все-таки не примиряет с действительностью...» Тогда же писал он Полонскому в ответ на его стихи:

Нет более искр живых на голос твой приветный,
 Во мне глухая ночь, и нет для ней утра...
 И скоро улетит — во мраке незаметный —
 Последний, скудный дым с потухшего костра.

Правда, через неделю после этих строк было написано мадригальное стихотворение, посвященное Н. С. Акинфиевой, но оно свидетельствует лишь о той потребности в обществе, особенно женском, которое Тютчева никогда не покидало. Под этим по-

кровом нежности, общительности, разговорчивости, продолжала зиять полная опустошенность, получившая самое глубокое свое выражение в стихах: «Есть и в моем страдальческом застое...» Мертвенность души, тупая тоска, невозможность осознать самого себя, противопоставлены в них жгучему, но живому страданию, точно так же, как при жизни Елены Александровны противопоставлялось могущество ее любви той неспособности любить, которую испытывал поэт, когда сознавал себя «живой души твоей безжизненным кумиром».

В конце июня он пишет М. А. Георгиевской: «Я должен признаться, что с той поры не было ни одного дня, который я не начинал бы без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце». Две годовщины помянул он тем летом скорбными стихами: 15 июля в Петербурге написал: «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...», а 3 августа в Овстуге:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

В этом месяце Тютчеву было особенно тяжело. Близкие отмечают его раздражительность: ему хотелось, чтобы они высказывали больше участия к его горю. 16 августа он пишет М. А. Георгиевской: «Мои подлые нервы до того расстроены, что я пера в руках держать не могу...», а в конце сентября ей же из Петербурга: «Жалкое и подлое творение человек с его способностью все пережить», — но сам он полгода спустя в стихах к гр. Блудовой скажет, что «пережить не значит жить». «Нет дня, чтобы душа не ныла...» — написано в том же году поздней осенью. Следующей весной Тютчев не хотел ехать за границу и писал Георгиевским: «Там еще пустее. Это я уже испытал на деле». Летом того года он жаловался из Царского жене: «Я с каждым днем становлюсь все несноснее, и моему обычно-

му раздражению способствует немало та усталость, которую я испытываю в погоне всеми способами развлечься и не видеть перед собой ужасной пустоты».

* * *

Конечно, время, как принято выражаться, «делало свое дело». Прошел еще год. Упоминание о Елене Александровне в переписке исчезает. Но известно, что осенью этого года на одном из заседаний Совета Главного Управления по делам печати, которого он состоял членом, Тютчев был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листке бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумьи, оставив листок. Один из его сослуживцев, гр. Капнист¹³, заметил, что, вместо деловых записок, там были стихотворные строчки. Он взял листок и сохранил его на память о Тютчеве:

Как ни тяжел последний час —
 Та непонятная для нас
 Истома смертного страданья, —
 Но для души еще страшней
 Следить, как вымирают в ней
 Все лучшие воспоминанья.

Прошла еще одна петербургская зима, потом весна... В июне Тютчев написал:

Опять стою я над Невой,
 И снова, как в былые годы,
 Смотрю и я, как бы живой,
 На эти дремлющие воды.
 Нет искр в небесной синеве,
 Все стихло в бледном обаянье,
 Лишь по задумчивой Неве
 Струится лунное сиянье.
 Во сне ль все это снится мне,
 Или гляжу я в самом деле,
 На что при этой же луне
 С тобой живые мы глядели?

Понимать это следует буквально. Ему не хватало жизни; ему оставалось недолго жить.

